

Лион Фейхтвангер

После сезона



Лион Фейхтвангер

После сезона

HarryFan

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160716

Лион Фейхтвангер. Собрание сочинений. Том 12.: Художественная литература; Москва; 1968

Лион Фейхтвангер

ПОСЛЕ СЕЗОНА

Пожилой господин невысокого роста, с суровым лицом и развевающимися седыми волосами, похожий на актера или на художника, гулял по берегу озера Фертшау. Он был одет в добротный старомодный, чуть-чуть слишком длинный пиджак, галстук был небрежно повязан, широкополая шляпа помята; в том, как он шел, заложив руку за спину, сказывался человек значительный и привыкший внушать почтение. К тому же он отнюдь не был прижимист и не дрожал над каждой десятишиллинговой бумажкой. И, однако, местные жители за спиной приезжего отпускали на его счет грубоватые, мало лестные для него остроты. Сезон выдался неудачный, а на одном старике не очень-то можно было разжиться. В противоположность Германии, маленькая Австрия стабилизировала свою валюту; это значительно удорожило для приезжих из Германии жизнь в Фертшау, облюбованном ими уголке Каринтии, и курорт, посещавшийся по преимуществу немцами, в этом году не мог похвалиться обилием гостей. Вдобавок лето было дождливое. Сезон кончился раньше времени. В гостинице «Манхарт» большая часть служащих уже была уволена, главное здание закрыто. Ресторан был переведен в пристройку. Кафе и кондитерская бездействовали. Купальней еще можно было пользоваться; но никто уже не

обслуживал посетителей, им предоставлялось устраиваться по своему усмотрению. Филиалы венских магазинов уже закрылись; парикмахеры, музыканты, кельнеры – все те, чьи профессии носят сезонный характер, вернулись в столицу, брюзжа и досадуя.

Пожилой господин шел по красивой береговой аллее, устланной опавшими листьями, мимо вилл с наглухо закрытыми ставнями. Он изо дня в день совершал эту прогулку. Купальные кабинки были заперты, лодки вытащены на берег. Один лишь моторный катер пароходной компании лениво тащился по залитому солнцем озеру. Местные жители слонялись без дела и злились. В том, что теперь, когда лето кончилось, установилась такая теплая, на редкость прекрасная погода, они видели жестокую насмешку. Некому было платить за красоты природы! Во всем курорте едва ли наберется сотня приезжих.

Невысокого роста пожилой господин шел медленно и важно, наслаждаясь приятным теплом. Озеро, подернутое рябью, было окрашено в блеклые тона. Лесистые горы, а за ними – вершины, покрытые свежим снегом, четко обрисовывались на нежно-голубом небе. Садовник укутывал молодые деревца в рогожу, какой-то другой человек, в одном жилете, заколачивал большими гвоздями кабинку. Они поздоровались с приезжим. Поглядеть ему вслед было для них желанным предлогом на минуту-другую прервать неторопливую свою работу. Они позубоскалили на его счет, им пока-

зался смешным низенький человек с важной осанкой и лягушечьим ртом. Они уже успели разузнать о нем то, что могло представить интерес; этого было не так уж много, при всем желании не о чем было долго судачить. Его звали Роберт Вickersберг, столовался он в гостинице «Манхарт», жил на вилле Кайнценхубер. Там он один занимал две комнаты и, не торгуясь, платил ту непомерно высокую цену, которую с него запросила советница Кайнценхубер. Если бы он не согласился платить такие деньги, местные жители ругали бы его на чем свет стоит; то, что он согласился их платить, представлялось им нелепым чудачеством.

Пожилой господин тем временем, держа шляпу в руках, подставив седую голову ветру, обнажив зубы, выступавшие вперед косо, словно кровельные черепицы, дошел до конца аллеи. Там находилась небольшая площадка со скамейками и бюстом местного уроженца, композитора Матиаса Лайшахера, автора песен, стяжавших славу далеко за пределами его родины. Пожилой господин остановился перед бюстом и долго вглядывался в него. У Лайшахера, по-видимому, было полное, мясистое лицо и густые усы; бронзовому бюсту не удалось изгладить безнадежную пошлость, выраженную в чертах лица популярного композитора. Лайшахер в свое время был главой квартета, составленного им из своих земляков, сам пел в нем, квартет прославился, выступал в Европе и за океаном, загребая деньги и пожиная славу. Пожилой господин смотрел на бюст сосредоточенно, без улыбки, мыслен-

но представляя себе, как этот человек сообща с тремя другими, облаченными во фраки мужчинами распевал в переполненном концертном зале свои чувствительные мелодии. Он представил себе это не улыбнувшись и так же, без улыбки, прочел выпретенную надпись, в напыщенных выражениях прославлявшую пошло-сентиментальную музыку знаменитого уроженца Фертшау.

От площадки с бюстом крутая тропинка, заросшая, уединенная, вела прямо в лес. Пожилой господин стал взбираться по ней. Он давно уже тосковал по уединению и сознательно искал его теперь. Да, его звали Роберт Викерсберг, и это имя было очень известно, хотя местные жители никогда его не слышали. Роберт Викерсберг слыл одним из немногих подлинных поэтов своей страны, а многие считали его первым из них. Он жил замкнутой, тихой жизнью в небольшом городке, в кругу преданных своих приверженцев. Очень утомительно жить так в течение долгих лет, высказывать взгляды, неизменно ко многому обязывающие, быть вынужденным всегда помнить о своем главенстве, постоянно сознавать, какую ответственность налагает каждое слово, хотя бы невольно вырвавшееся, каждый поступок. Как ни презирал Викерсберг мнение толпы, оно все же доходило до него, и хотя газеты и не имели доступа в его дом, но почитатели сообщали ему, что в них написано. Можно замкнуться в своей башне из слоновой кости, но ведь за ней расстилается весь мир; он виден с ее высоты, и это зрелище терзает душу. Нуж-

но когда-нибудь отдохнуть от всего этого, от незримого владычества над своими приверженцами, от созерцания, хотя бы издалека, Страшного суда, на земле свершающегося. Вот почему он внезапно, никому не сообщив, куда держит путь, отправился в Фертшау, рассчитывая, что это один из немногих уголков страны, где его имя никому не известно.

Он поднялся до самого верха, сел на скамью, с которой открывался вид на окрестности, обвел взором красивый, но не вызывающий волнения пейзаж. Уже шестой день, как он здесь. Он проходил среди людей – медлительных, грубых, корыстных и простосердечных, подобный властелину, о могуществе которого никто не подозревает; то тут, то там садился на скамейку, любовался видом, лежал в лесу, плавал, катался на лодке. Все в меру, как и у себя дома. Именно так он и предполагал; а вместе с тем – все это было и несколько иначе, чем он предполагал. Дома ни одна газета не должна была попадаться ему на глаза. Здесь ему стоило больших усилий не заглядывать в провинциальные листки, получаемые в отеле. Дома к нему не допускались посторонние, а друзья вели счет каждому своему слову, чтобы не докучать ему. Здесь он по утрам беседовал со своей хозяйкой, советницей Кайнценхубер, а за обедом – с директором гостиницы «Манхарт». Он имел обыкновение пить чай, поэтому советница Кайнценхубер обстоятельно изъясняла ему вкусовые преимущества и полезные свойства кофе, сваренного по-австрийски. Директор гостиницы разглагольствовал об австрийских ви-

нах, особенно расхваливая дешевые сорта, о плохом сезоне и его последствиях и, наконец, о композиторе Матиасе Лайшахере, одна из рукописей которого находилась во владении директора. То была рукопись сентиментальной песни, повествовавшей о том, как двое влюбленных тихим летним вечером плыли в челне по озеру и остались верны друг другу до гробовой доски. Директор уже два раза показывал ему рукопись, вставленную в дорогую рамку.

Поэт Роберт Викерсберг взглянул на часы, встал и отправился обедать в гостиницу «Манхарт». Установленный для трапезы час еще не наступил. Однако немногочисленные завсегдатаи все уже были налицо. Ибо здесь, да еще в такое тихое время, ожидание очередной трапезы было единственным занятием, помогавшим скоротать день. Господин Викерсберг оглядел собравшихся. Среди них были мелкие буржуа, служащие, стенографистки высшего разряда, затем еврейская супружеская чета из Вены, адвокат, производивший впечатление человека неглупого и изнеженного, в сопровождении полной, подвижной дамы, далее – говорившее с сильным саксонским акцентом семейство: муж, хорошо одетый, жена, державшаяся несколько надменно, и молоденькая, шумливая, миловидная дочь. Посетители, наверно, уже осведомлялись о том, кто этот пожилой господин с такой оригинальной наружностью. Вероятно, узнали его фамилию, но то, что незнакомца зовут Роберт Викерсберг, – вряд ли что-нибудь говорило им. Он всегда насмеялся над мнением

света, надменно отказывался разговаривать с интервьюерами, позировать фотографам и все же был слегка задет тем, что посетителям гостиницы его имя ничего не говорило.

После обеда он пошел в купальню. Там было совершенно пусто. Он разделся. Его холеная кожа еще не утратила гладкости. За последние дни она от солнечных ванн покраснела, завтра она покроется загаром. Роберт Викерсберг поднялся на открытую галерею, натерся мазью и лег на дощатый настил. Закрыв глаза, вытянулся, подставил тело жаркому солнцу. Озеро тихо плескалось, слышно было, как где-то вдали стучал молоток человека, заколачивавшего кабинку. Высоко в небе парил самолет, его гудение едва доносилось вниз, то был пассажирский самолет, курсирующий между Веной и Венецией. Собственно говоря, можно было бы опять съездить в Венецию. Нет, там, без сомнения, найдутся люди, которые узнают его. Перелет над горами, из Вены сюда, был очень приятен. В сущности, он ведь здесь нашел именно то, чего искал. Для его здоровья эта местность тоже оказалась вполне подходящей; давно уже он не ощущал такой бодрости. И, наверно, здесь, в отвечающей его желаниям атмосфере скуки, ему удастся осуществить свои замыслы. Драма «Асмодей», два действия которой уже закончены, по-видимому, выльется в нечто значительное. Он еще не исписался, он еще не стар. В прошлом столетии человек в пятьдесят – шестьдесят лет уже сходил со сцены. В наши дни дело обстоит иначе. Статистические данные показыва-

ют, что средняя продолжительность жизни неуклонно повышается. Он вел воздержный образ жизни, разве что немного пил. Но он и не думает уходить на покой, до этого еще далеко. То красочное, изысканное, строгое искусство, которое он возглавляет, не раз уже объявляли отжившим. А затем волна, стремительно нахлынувшая, спадала, и оказывалось, что это искусство непреходяще, что оно вечно. Его приверженцы немногочисленны, но ряды их не поредели, и все это – избранные люди. Даже газеты это признают. Молодому поколению, дерзко высмеивающему его, придется еще испытать немало разочарований. Было – он этого не отрицает – несколько лет, когда его творчество, казалось, шло на ущерб. Но сейчас он вновь ощущает прилив сил. Ведь стало бы скучно, если бы все уже было достигнуто. Хорошо, что еще встречаются кое-какие трудности, которые надо преодолеть. «Ас-модей» убедит многих, в том числе и кельнера Франца.

Когда поэт Викерсберг вспомнил о кельнере Франце, его лицо страдальчески сморщилось. Кельнер Франц – его больное место. Он служит старшим кельнером в городе, где живет Викерсберг, в кафе, завсегдатаем которого он был в течение сорока лет, куда и теперь, в годы мировой своей славы, все еще заходит каждые два месяца. Кельнер Франц почти все это время прослужил там и, казалось, должен был быть признателен поэту за многое – за наплыв посетителей, за чаевые, ими расточаемые, за домогательства интервьюеров. Но кельнер Франц – это сознание словно червь гложет сердце

Викерсберга – не верит в него. Кельнеру Францу приходилось слышать резкие о нем отзывы. Не одна битва разыгралась, не одна рана была нанесена поэту, прежде чем он был возвеличен, стал божеством тех, кто его окружал; некоторые лица, – одни из них и поныне принадлежали к тем немногим, кого божество удостаивало общения, другие давно были им отринуты, – в те времена выражали свое мнение в самой грубой форме. Кельнер Франц не раз слышал, как стихи поэта Викерсберга, словно из мрамора изваянные, именовались кропательством, презренными виршами. Если бы Викерсберг мог предположить, что только эта непристойная брань заставляет кельнера Франца сомневаться в нем, эти сомнения не уязвляли бы его. Но он отлично знал, что кельнер Франц всегда составляет себе собственное мнение, не опрометчивое, не поверхностное, а такое, какое приличествует человеку опытному и большому знатоку людей. Он никогда не высказывал этого мнения поэту Викерсбергу. Он был прекрасно вышколенный кельнер и знал, как ему надлежит себя вести. Но поэт Викерсберг в чертах лица кельнера Франца, в том, как тот подавал ему кофе, умел читать его мысли. И хотя временами драмы Викерсберга выдерживали по многу тысяч представлений, хотя они переводились на все языки белой расы, шли даже на японской сцене, кельнер Франц не изменялся. Был все так же учтив, все так же услужлив и держался все того же мнения. Оба они знали, как обстоит дело, хотя никогда ни одного слова не проронили об этом. Один-

единственный раз, – вскоре после празднования пятидесятилетия со дня его рождения, у ног поэта еще клубился фимиам, во славу его воскуренный всем гуманистически мыслящим миром, – он спросил кельнера, когда тот подавал ему пальто:

– Ну что, Франц, все то же?

Но кельнер только печально взглянул на него и с сожалением пожал плечами.

Вот о чем думал поэт Викерсберг в безлюдной купальне курорта Фертшау, и эти мысли докучали ему. Но досада таяла на солнце. Ему вспоминались стихи о пустыне в действе о Соломоне и Асмодее, – стихи, в которых желтые дали пустыни запечатлены были навек. Он лежал на горячих досках, его немолодое холеное тело лоснилось от мази и испарины, им овладевала сладкая истома.

Кто-то вошел в купальню. Роберт Викерсберг приподнялся на горячих досках, сощурившись, перегнулся через перила. Это пришла молоденькая саксонка из ресторана. Она прибежала в купальном костюме и накинутом поверх него купальном халате. Взглянула наверх, улыбнулась, ожидая, что он заговорит с нею. Так как он молчал, она осталась внизу и улеглась на самом солнцепеке.

Саксонка миловидна, изящна, очень стройна. Глаза у нее узкие, удлинённые, их синева чуть глуповата, она премило смеется. Но какое ему дело до нее? Сейчас он предается сладкой истоме, а в остальном – его занимают творческие за-

мысли. Он в ударе, тем, кто пытается умалить его, предстоит нелегкая задача. Его замыслы прекрасны.

Его замыслы бессильны. «Асмодей» мог, пожалуй, вылиться в нечто значительное. Вначале новое творение представлялось ему отчетливо, в ярких, сочных красках. Он мог без рисовки сказать, что сцена, где царь взамен себя сажает на престол демона, а сам, обуреваемый желанием до конца изведать все человеческое, удаляется к самым ничтожным людям, живущим на краю пустыни, достойна его дарования. Первое действие он написал в один присест. Оно прекрасно удалось ему; вдохновение било ключом, ничего не приходилось выжимать из себя. То, что он создал, вполне совпадало с образом, витавшим перед ним, дышало жизнью, цвело пышным цветом. Но продолжение не спорилось. Оно началось вяло – и осталось вялым. Три, четыре раза он снова брался за работу. Еще один-единственный раз он испытал подъем – и создал ту желтую песню о пустыне. Но все остальное не обрело мелодии, было все так же вымучено, сухо, безжизненно. Никто, по всей вероятности, этого не заметит, кроме него самого. Он в совершенстве владеет формой, под его рукой даже полый, тусклый щебень приобретает обличье мрамора, благородный его блеск. Но щебень остается щебнем, и Вилкерсберг это знает.

Что бы ни было: стихи о пустыне хороши, на них – печать его мастерства, мастерства его лучших лет. Пусть нынешние молодые крикуны попробуют с ним соперничать! Он потя-

нулся, вытер не слишком обильный, приятный пот, вторично натерся мазью, повернулся на другой бок, скрестил руки на затылке, запрокинул голову. Те несколько дней, что он здесь, пошли ему на пользу. Здесь им были созданы стихи о пустыне. Да, его выбор оказался удачным. Тихое Фергшау – на эти недели самое подходящее для него местопребывание. Правда, здесь обитают какие-то нелепые люди – полные корысти, бездушные и тупые. Но место все-таки хорошее, и, быть может, когда-нибудь скажут: «Здесь Роберт Викерсберг создал свою драму «Соломон и Асмодей»».

В сущности, он здесь мог бы слегка отступить от суровых своих привычек; мог бы иной раз позволить себе заглянуть в газету, уделить немного внимания молоденькой саксонке. Его так мало соблазняет жизнь, наполненная низменными интересами, что мимолетное к ней приобщение способно лишь оттенить благотворную суровость привычного ему образа жизни. Он встал, подошел к перилам. Да, саксонка все еще лежит на солнце, стройная и миловидная в купальном своем костюме. Он спустился с галереи. Она повернула голову и посмотрела на него, сощуря глаза. Он прошел мимо нее, она проводила его рассеянным взглядом. Он обрызгал себя водой, чтобы поостыть, затем осторожно сошел с лестницы, погрузился в озеро, поплавал несколько минут. Снова вскарабкался по лестнице вверх, долго, старательно отряхивался. Поднялся на галерею, взял свой халат, закутался в него, перегнулся через перила, сверху оглядел сак-

сонку, лежавшую все там же, на солнцепеке.

Вдруг она, лениво сощурившись, снизу обратилась к нему:

– А почему вы не прыгнули с разбегу?

Несколько озадаченный, он стал искать объяснения и в конце концов ответил – не слишком убедительно:

– Мне кажется, это более благоразумно.

Она продолжала:

– Мне было бы скучно вползать в воду таким манером – рассчитывать каждый миллиметр.

Они обменялись еще несколькими банальными фразами. У нее был сильный саксонский акцент, то, что она говорила, сводилось к пустой болтовне. Но поэт Викерсберг нашел, что в ее облике чувствуется интеллигентность, да и приятно было смотреть, как она умеет нежиться на солнце. Неожиданно она перешла в наступление:

– Чего ради вы приехали в Фертшау? Ведь взрослому мужчине тут должно быть смертельно скучно.

– А может быть, я хочу скучать? – сказал Викерсберг.

– И поэтому беседуете со мной? Какой вы невежа, – бойко ответила девушка.

Поэта Викерсберга ничуть не смущало ее саксонское произношение. Он спросил:

– Если вам здесь скучно, почему вы не уезжаете?

Она совсем просто ответила ему, что никак не могла убедить родителей поехать в какое-нибудь другое, более ожив-

ленное место. Ее отец, дрезденский фабрикант, желает во время летней своей поездки наслаждаться покоем и природой. Однако она добилась того, что через две недели они поедут в Венецию. Вдруг она ловким движением вскочила на ноги, заявила, что ей слишком жарко, кинулась в воду, головой вперед. Оставалась там недолго, вскоре вернулась к нему, визжа, обдавая его брызгами.

Роберт Викерсберг знал, что обычно притягательной силой для женщин является в нем его творчество, его имя, его успех, иной раз, быть может, и его влияние. Его радовала мысль, что для этой девушки он всего лишь некий господин Викерсберг, что он нравится ей, и не будучи возвеличен своим творчеством.

Она доверчиво под села к нему, прехорошенькая в мокром костюме, стала рассказывать о себе. Ее родители – состоятельные люди, но ведь очень уж скучно вести жизнь благонаправленной девушки из хорошей семьи, с перспективой, в будущем, буржуазного замужества. Она учится пению. Хочет поступить в оперетку или – еще лучше – в варьете. Она мечтает уехать в Берлин. Там она наверно устроится. Она ведь красива. Родители, несомненно, сдадутся, когда она поставит их перед совершившимся фактом. Все это она рассказывала скороговоркой, со своим смешным саксонским акцентом. Викерсберг слушал. Она рассуждала здраво; она не думает, что у нее большой талант; но с рядовыми «герлс» из оперетки она вполне может померяться.

– Или вы находите, что я недостаточно красива для берлинского «обозрения»?

Она действительно была красива. Звали ее Ильза.

Они условились, что после ужина еще погуляют вместе. Родители, вероятно, будут слишком утомлены, чтобы их сопровождать; если же нет – придется скрепя сердце дать им трусить за собой, на некотором расстоянии. У них уже появился общий секрет.

Викерсберг поехал в Фертшау в дурном настроении. Его не тешили собственные успехи, не радовали даже неудачи молодых. Ему не хотелось писать, не хотелось и читать. Ни тихое озеро, ни четкая линия гор, ни даже ощущение собственной, тщательно им лелеемой бодрости – ничто его не радовало. Теперь он прошел по аллее ускоренным шагом. Разговорился с продавщицей фруктов. Купил в лавочке венские газеты. С интересом пробежал многословную болтовню, остался весьма доволен язвительным анекдотом об одном коллеге и благоговейным упоминанием своего собственного имени. Посидел на скамейке, отбивая изящной, слегка увядшей рукой такт мелодии, вдруг ему вспомнившейся. Местные жители, проходя мимо, покачивали головами, думали, что он не в своем уме.

Он пошел домой, вторично побрился, переменял пиджак и воротничок, обратился с несколькими приветливыми словами к старой советнице Кайнценхубер, которая нашла, что сегодня он премил, чрезвычайно любезен. Во время ужи-

на вступил в обстоятельный разговор с директором гостиницы, попросил его, весьма этим польщенного, еще раз показать ему рукопись композитора Матиаса Лайшахера. Выпил приятного на вкус австрийского вина. Сказал бойкой, полной кельнерше что-то старомодное, отдаленно напоминавшее цветистый комплимент; она, смеясь, ответила ему, задорно и многозначительно.

Наконец настал час прогулки, о которой они днем сговорились. Родители, как и предполагалось, после нескольких искусных маневров затрусили где-то впереди, он и саксонка оставались в темноте. Но она была совсем не та, что днем, – капризничала, говорила резко, нелюбезно. Он с досадой вспомнил, что у него седая голова и чопорный вид. Она спросила его, чем он занимается. Он уклончиво ответил, что пишет о разных вещах. Она сказала:

– Если вы пишете в газетах, вы ведь могли бы мне помочь.

Он ничего на это не ответил, а она, очевидно решив, что он прихвастнул, стала говорить ему колкости.

Он увидел, что без упоминания о своих книгах ему никак не обойтись, ощутил соблазн объяснить ей, кто он, но тотчас устыдился. Неужели он для того приехал в этот тихий уголок, чтобы завести глупейший флирт с девчонкой, каких на свете тысячи? Папаша-саксонец будет прав, если станет потешаться над ним, седовласым ослом. Поэт Вickersберг приумолк.

– Вы устали, с вами скучно, – неодобрительно заявила сак-

сонка.

На следующий день он снова был угрюмым, одиноким пожилым господином. Совершил обычную свою прогулку, долго и мрачно вглядывался в бюст композитора Лайшахера, катался на лодке. В купальне ему, разумеется, повстречалась саксонка. Но она была не одна. Рядом с ней лежал молодой человек в купальном халате, вызывающе шумливый, как показалось господину Викерсбергу. Она смеялась, была оживленна, по-видимому, разговор очень забавлял их обоих. По всей вероятности, она потешалась над ним с этим противным юнцом. Это ее право. Впрочем, это ведь совершенно безразлично. Он закрыл глаза, было приятно лежать на солнце. Еще приятнее было бы, если бы оно грело только его одного. Болтовня и хохот молодых людей мешали ему.

Немного погодя он спустился вниз поплавать. Саксонка окликнула его. Завязался малозначительный разговор, в котором принял участие и юнец – с добродушием и учтивостью, свойственными австрийцам. Говорили о купанье, о живописном островке, расположенном как раз напротив. Во время сезона на островке открывался маленький ресторан. Многие ездили туда на лодке, часть пути некоторые проделывали вплавь. Очень ли утомительно проплыть все расстояние? Юнец сказал, что для него это был бы сущий пустяк. Господин Викерсберг заявил, что недурно плавает, но давно уже не тренировался. Саксонка взглянула на него своими удлинненными, небольшими темно-синими глазами, по-

том взглянула на юнца:

– Отговорку ведь нетрудно найти, – сказала она.

– Вы думаете, я не смогу доплыть? – спросил Викерсберг.

Она снова взглянула – сначала на него, затем на юнца, пожала плечами. Она была очень мила в купальном костюме – стройная, свежая.

Роберт Викерсберг стал спускаться в воду по деревянным ступенькам. Одна из них была сломана, он довольно неуклюже бухнулся в воду. Саксонка рассмеялась. Поэт Викерсберг проплыл небольшое расстояние ровными взмахами, пробуя свои силы, затем лег на спину. Час был предвечерний. Воду нельзя было назвать теплой, чувствовалось, что осень близка. Саксонка и юнец свесились через перила, они что-то кричали ему. Он взял курс на островок.

Он плыл спокойными, равномерными взмахами, время от времени ложась на спину, чтобы передохнуть. Он в самом деле был опытный пловец, в южных морях он в свое время преодолевал гораздо большие расстояния. Конечно, в этом альпийском озере вода не так хорошо держит пловца, а к тому же становилось чертовски холодно. Он поплыл быстрее, чтобы согреться; испытывал животную радость от воды, от быстрого движения, давным-давно забыл о саксонке. До островка уже совсем близко. Он снова повернулся на спину, лежал, закрыв глаза, слегка покачиваясь на волнах, с глуповатым, сосредоточенным, детским выражением лица. Над ним расстиралось по-вечернему белое небо. Он проплыл по-

следний небольшой кусок, вступил на остров с таким гордым чувством, словно окончательно совладал с «Асмодеем». Вскоре ему стало очень холодно, его пробрала дрожь. Какая гнусность, что этот дурацкий ресторан закрыт! Он бегал взад и вперед, размахивая руками, камни и галька на берегу ранили его босые ноги. Ему никак не удавалось согреться.

Он нехотя снова вошел в воду. Сумерки сгущались, стало очень холодно. Он плыл быстро, сильными взмахами, глубоко погрузив в воду подбородок. Немного погодя он сказал себе, что ему нужно расчетливо тратить свои силы. Дать размах! Вперед! Замедлить движение! Сначала он отсчитывает триста взмахов, потом проплывет некоторое расстояние кролем. А сейчас, несмотря на холод, он должен передохнуть, иначе ему не справиться. До чего омерзителен этот встречный ветер! Проклятые барашки то и дело заливают рот и уши. Из-за ветра ему придется потратить лишних четверть часа, если не больше. Берег все время как будто удаляется, вместо того чтобы приближаться. Наверное, тут какое-то течение, которое его относит. Уже совсем стемнело, черт его знает сколько времени он плывет. Скверно! Теперь одно – не торопиться. Действовать благоразумно! Не расточать ни силы, ни время. Держать курс на огонек – там, вдали! Не уклоняться от этого направления ни на один сантиметр, не делать ни одного лишнего движения! Равномерно, спокойно, глубоко дыша, с сильно бьющимся сердцем, приподняв затылок, он пробивался сквозь холод и мрак.

Посиневший, закоченелый, он ухватился за ступеньку лесенки, ведущей в купальню; с невероятными усилиями, весь дрожа, крепко держась за перила, взобрался наверх. Постоял, тяжело, прерывисто дыша. Потом стал изо всех сил растирать себе тело, лицо его оставалось застывшим. Уже наступила ночь, в купальне никого не было, саксонка и юнец давно ушли. Озеро мрачно, неприветно чернело перед ним. Дул ветер, луны не было.

Роберт Викерсберг кое-как, второпях оделся. Пошел домой, заказал советнице Кайнценхубер, потихоньку ворчавшей, стакан глинтвейну, лег в постель. Ночью он плохо спал, ощущал разбитость и озноб, утром предпочел не вставать. К полудню жар настолько усилился, что советница встревожилась и вызвала кого-то из соседей. Решили отвезти пожилого господина в больницу, в соседний городок Кальтенфурт.

В этой больнице среди более молодых врачей нашелся такой, который почитывал книги. Имя Викерсберга ему было знакомо. Он внимательно оглядел незаурядную голову с лягушечьим ртом и убедился, что пациент и поэт – одно и то же лицо.

На другой день местная газетка сообщила, что известный поэт и драматург Роберт Викерсберг, приехавший в Фертшау отдыхать, серьезно заболел воспалением легких и лежит в кальтенфуртской больнице; однако есть надежда, что испытанному искусству кальтенфуртских врачей удастся спасти знаменитого больного.

Вечером это сообщение появилось в венских газетах, на следующее утро – в заграничных.

Жители Фертшау мгновенно забыли, что недавно еще находили смешным странного пожилого господина с лягушечьим ртом и зубами, косо, словно кровельные черепицы, выступавшими вперед. В гостиницах и пансионах городка Кальтенфурт и местечка Фертшау вдруг появились какие-то суетливые люди, венские журналисты, повсюду шнырявшие и разведывавшие, что больной делал в последние дни, с кем встречался, почему он приехал именно сюда, в Фертшау.

Они толпились в самой больнице, собирались возле нее, набрасываясь на слухи так же жадно, как рыбы у берега озера – на хлебные крошки, бросаемые приезжими; каждый из них думал лишь об одном – как бы ему, чего бы это ни стоило, успеть ни на секунду не позже другого сообщить своей газете о катастрофе. Врачам, которые лечили больного, быстро угасавшего, приходилось каждые полчаса выпускать бюллетени, местное почтовое отделение ходатайствовало в Вене о присылке подсобного персонала. Среди журналистов были скептики, были циники. Попадались такие, которые испытывали некоторое смущение, составляя телеграммы, гласившие, что уж нет почти никакой надежды сохранить больному жизнь, а были и другие, которые полагали, что старику пора наконец откланяться.

Стояла чудесная ранняя осень. Местечко Фертшау, ныне чаще всех других курортов упоминавшееся в газетах, при-

влекало множество приезжих. Маленькое кафе снова заняло столиками часть пляжа, пароходная компания пустила еще один большой катер, озеро пестрело лодками. Кто бы мог думать, что беседка, откуда открывался прекрасный вид на окрестности, в этом году еще увидит такой наплыв посетителей? Человек, работавший в одном жилете, вытащил гвозди, которыми заколотил свою кабинку, в купальне снова царило оживление. Певческие общества Кальтенфурта и Фертшай объединились, чтобы совместно прорепетировать несколько торжественных кантат композитора Лайшахера. Особенно усердствовал директор гостиницы «Манхарт». Он спешно велел выутюжить запасную пару полосатых брюк и без устали, с многословной австрийской учтивостью рассказывал, как обстоятельно и охотно беседовал с ним великий человек, как он был доволен озером, горами, прекрасным воздухом, безукоризненной австрийской кухней гостиницы. Сокрушался на своем гортанном каринтийском наречии, что роковая случайность погубила поэта именно тогда, когда он так чудесно поправлялся. Растроганно говорил о том, с каким благоговением поэт вновь и вновь рассматривал рукопись песни знаменитого Лайшахера; о том, как он нередко подолгу, нахмутив брови, погруженный в свои думы, стоял перед бронзовым бюстом великого композитора. Также и садовник каждый день, уснащая свой рассказ все новыми подробностями, повествовал о том, какой живой интерес пожилой господин проявлял к его цветам; он, садовник, сра-

зу почувял, что этот господин – не заурядный приезжий, а какое-нибудь значительное лицо. Более того – памятуя слова одной из песен Лайшахера, садовник не преминул послать больному букет астр и последние свои розы. Но самым обильным материалом для разговоров располагала советница Кайнценхубер. Угощая интервьюеров своим превосходным кофе, сваренным по-австрийски, она повествовала, как сразу догадалась о том, что в ее скромном, но уютном и недорогом пансионе поселился великий человек. Она старалась доставить ему все удобства, какие только могла, и хотя сама она считает, что кофе гораздо полезнее, особенно заботливо следила за приготовлением чая, который он упорно требовал. Все эти сведения сообщались в газетах по нескольку раз; их приходилось излагать очень обстоятельно, ибо больной самым непозволительным образом медлил умирать; это было просто возмутительно с его стороны – так задерживать всех.

А Роберт Викерсберг лежал в лучшей комнате кальтенфуртской больницы. Он почти все время сознавал, что дело идет к концу, но не спешил, не давал себя торопить. Он много бредил, перед ним мелькали причудливые образы. Однажды ему даже привиделась ненаписанная часть «Асмодея», – такую, какую она ему представлялась, когда этот замысел впервые возник у него. Он не жалел о том, что его драма именно теперь, когда ему стало ясно, как должно воплотиться задуманное, останется, вероятно, незаконченной. Нет, он

даже не без лукавства улыбнулся при мысли, что режиссерам, актерам, дельцам уже не придется драться из-за его творения, что оно, никому не став известным, исчезнет вместе с ним. Жаль только, что и кельнер Франц не будет знать о нем – и, таким образом, останется при своем ошибочном мнении о его способностях.

Приехала разведенная жена Викерсберга. Она возлагала кое-какие надежды на это свидание у смертного одра; но ее расчеты не оправдались. Поэт Викерсберг холодно встретил ее и потребовал, чтобы она больше не была допущена к нему. Журналисты тоже не уделили ей никакого внимания. Госпожа Викерсберг давно уже написала не очень чистоплотную книгу, в которой многословно изложила все, что она вменяла поэту в вину. Это было старо, неактуально, неинтересно. Газеты придавали гораздо больше значения рассказам советницы Кайнценхубер и директора гостиницы «Манхарт».

Викерсберг лежал и чувствовал себя расслабленным, недовольным, а иногда – даже обманутым богом и людьми. Флиртовать с женщинами, появляться среди толпы, ему поклоняющейся, и взирать на нее с иронией, но не без удовлетворения, пить хорошее вино на берегу прекрасного озера – он мало ценил эти возможности в ту пору, когда они ему представлялись. Теперь он охотно много дней заполнил бы без остатка такими радостями, хоть они и пошловаты. Не говоря уже об «Асмодее». Как хорошо было бы закончить его! Но ведь жизнь наша длится шестьдесят лет, а если дольше ей

продлиться суждено – восемьдесят, и сколько бы ни длились наши дни, в заботах и труде они проходят.

Вдруг он понял, почему теперь, на исходе, ему почти что удалось в совершенстве воплотить свой замысел. Он внезапно постиг, кто была та девушка в пустыне, от которой исходило сияние, озарявшее всю драму. Десятки лет прошли с тех пор, как он видел эту девушку, быть может, она давно уже умерла, но он отлично помнил, как она – худощавая, стройная, чуть угловатая – тогда повернула голову. Видел ее в длинном старомодном голубом платье, в котором она была, когда он познакомился с ней на большом народном гулянье, где-то в предместье. Ибо тогда он был очень молод; правда, он лишь потехи ради, настроившись на иронический лад, пошел со своими приятелями поглядеть на это грубоватое народное увеселение, но все же он в те времена был еще весьма далек от той суровости, которая впоследствии заглушила в нем жизнь, – и обратил на девушку в голубом гораздо больше внимания, чем хотя бы на саксонку Ильзу. Он не часто встречался с ней, и все же теперь, в кальтенфуртской больнице, отчетливо видел ее крупную руку, поношенные коричневые туфли, весь облик стройной девушки, тогда казавшейся ему такой лучезарной и разумной. Вероятно, она такой и была, но она родилась лет на десять раньше, чем следовало, в безвременье. Десятилетием позже она, вероятно, поступила бы в университет, нашла бы себе поприще. Тогда она служила в какой-то конторе, там она, по всей вероятно-

сти, и закисла. Если он недавно пошел погулять с саксонкой Ильзой, то лишь потому, что посадка головы этой стройной худощавой девушки чем-то напоминала ему ту, в голубом. Жаль все-таки, что он никогда не попытался узнать, как сложилась ее жизнь. Нет, не жаль. Это, наверно, принесло бы ему разочарование. А так – пред ним теперь девушка пустыни из драмы «Асмодей» излучает нежный свет.

Было бы омерзительно, если б взоры посторонних наделили девушку пустыни собственной своей пошлостью. Он беззлобно представлял себе, как глупо, с каким тупым непониманием взирала бы на нее та же саксонка Ильза. Потребовал, чтобы ему принесли его бумаги. Заставил сиделку в своем присутствии отобрать все, что имело отношение к «Асмодею». Затем велел ей написать письмо в маленький прирейнский городок, кельнеру Францу Клюзгенсу, в котором просил его немедленно по получении письма телеграфно дать обещание, что он ни единой душе не сообщит о пакете, который Роберт Викерсберг намерен ему послать. Потом велел ей уничтожить это письмо, сложить отобранные листы «Асмодея» в пакет, перевязать его, запечатать, написать на листке бумаги: «После моей смерти вручить господину Францу Клюзгенсу, кельнеру, в Б. на Рейне». Роберт Викерсберг подписал записку и взял с сиделки слово, что она сохранит его тайну. Брать слово с кельнера Франца было излишне. Он вглядывался в широкое, простодушно-спокойное, внушающее доверие лицо сиделки и испытывал лукавую радость при

мысли, что «Асмодей», все же ему удавшийся, попадет не в руки дельцов, гоняющихся за посмертными произведениями, а в руки кельнера Франца. Он наслаждался этой радостью. Это было чудесное переживание, быть может, лучшее в его жизни, если не считать времени, некогда проведенного им с девушкой в голубом, и длилось оно долго, едва ли не четверть часа. А затем началась тяжелая, бесконечная агония.

Саксонка Ильза была ошеломлена, когда узнала, кто, во славу ей, переплыл озеро. Старик оказался великим человеком: то был не кто иной, как поэт Роберт Викерсберг, не столь знаменитый, конечно, как иной боксер или чемпионка по теннису, но все же в достаточной мере известный. В сущности, он ведь умер из-за нее. В течение целого вечера она пребывала в великом смятении, не пила, не ела, не обращала внимания на юнца. Она была не столько раздосадована, сколько удручена тем, что не знала, кто такой Роберт Викерсберг. Если бы она проявила ловкость и настойчивость, ей, вероятно, удалось бы стать его любовницей или хотя бы женой.

Но на другой день она пришла к иному выводу: то, что он умер ради нее, – гораздо более эффектно. Она намекнула на это журналистам. Вскоре ее провозгласили последней любовью Роберта Викерсберга. Разведенная жена поэта совершенно стушеввалась перед нею. В одном из литературных

журналов саксонку сравнили с Ульрикой фон Левецов¹, последним увлечением поэта И.-В. фон Гете. Родители убедились, что они бессильны побороть художественное призвание дочери, и саксонка Ильза, молвою объявленная поздней подругой Роберта Викерсберга, обрела в нем великолепный трамплин для своей карьеры.

Похороны поэта Викерсберга явились зрелищем, по своей пышности не уступавшим похоронам композитора Лайшахера. Съехались представители правительства, крупнейших организаций, театров. Объединенные певческие общества Кальтенфурта и Фертшау почтили память великого усопшего исполнением нескольких прочувствованных кантат. Все газеты поместили подробные отчеты, с многочисленными иллюстрациями.

Многие заинтересовались озером Фертшау и курортом, на берегу его расположенным. В неурочное время, после сезона, наступило небывалое оживление. Совет общины Фертшау вынес решение установить бюст поэта Викерсберга на небольшой площадке в конце береговой аллеи, против бюста местного уроженца, композитора Лайшахера.

¹ Ульрика фон Левецов (1804–1899) – девушка редкой красоты, в которую влюбился семидесятилетний Гете. Родители девушки отвергли предложение поэта; однако Ульрика ни тогда, ни позже так и не вышла замуж. Вдохновленные этой поздней любовью стихотворения Гете (в том числе знаменитая «Мариенбадская элегия», 1823) принадлежат к шедеврам немецкой и мировой лирики.